

Александр Солженицын
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ, ТОМ СЕДЬМОЙ
КРАСНОЕ КОЛЕСО
ПОВЕСТВОВАНИЕ
В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ
УЗЕЛ 1
АВГУСТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО
КНИГА 1

Седьмой том открывает историческую эпопею в четырех Узлах «Красное Колесо». Узел I, «Август Четырнадцатого», состоит из двух книг. Книга первая посвящена Самсоновской катастрофе — окружению и разгрому Второй русской армии в начале Первой мировой войны.

АЛЕКСАНДР

СОЛЖЕНИЦЫН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ СЕДЬМОЙ

КРАСНОЕ КОЛЕСО

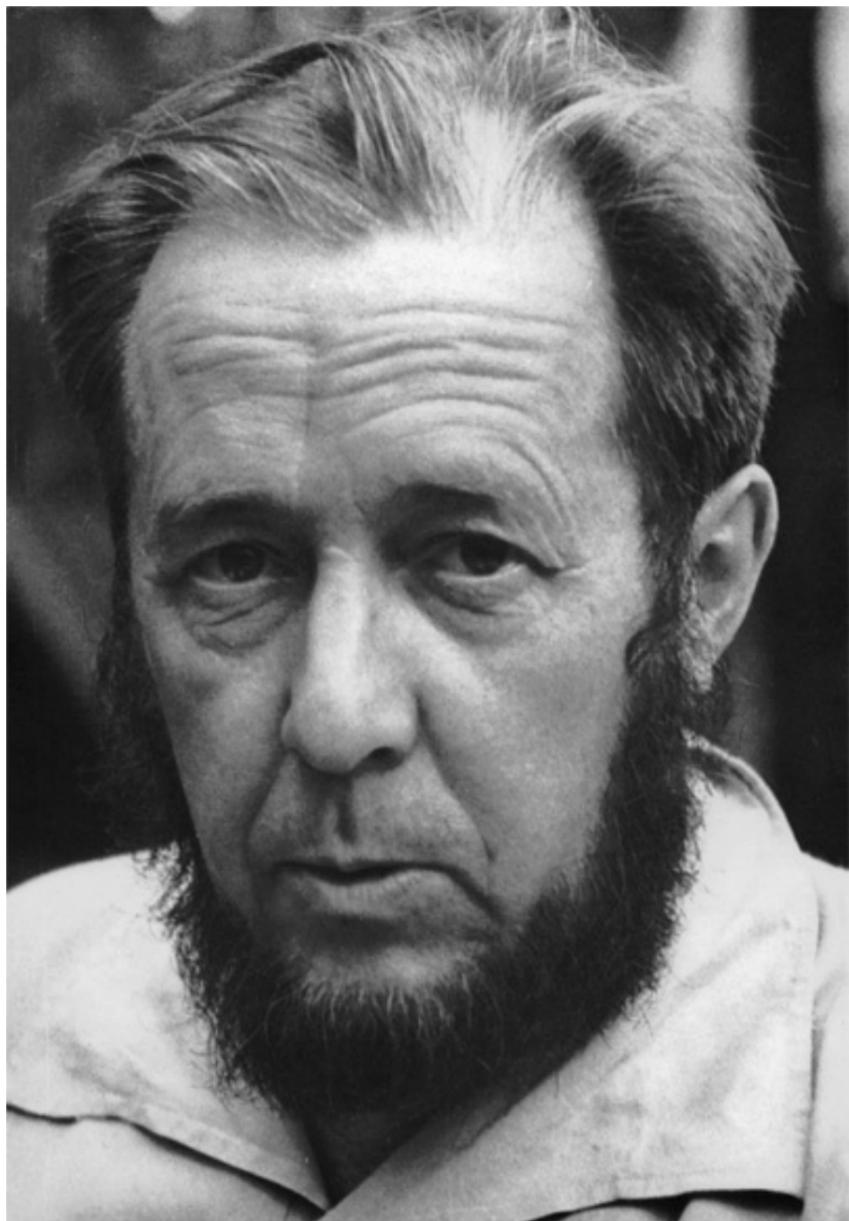
ПОВЕСТВОВАНИЕ
В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ

УЗЕЛ I

Август Четырнадцатого

КНИГА 1





Подмосковье 1967

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

РЕВОЛЮЦИЯ

*Только топор может нас
избавить, и ничто, кроме топора...
К топору зовите Русь.*

из письма в «Колокол», 1860

УЗЕЛ I

Август Четырнадцатого

10–21 Августа Ст. ст.

Книга 1

Они выехали из станицы прозрачным зорным утром, когда при первом солнце весь Хребет, ярко белый и в синих углубинах, стоял доступно близкий, видный каждым своим изрезом, до того близкий, что человеку непривычному помнится бы докатить к нему за два часа.

Высился он такой большой в мире малых людских вещей, такой нерукотворный в мире сделанных. За тысячи лет все люди, сколько жили, — доотказным раствором рук неси сюда и пухлыми грудами складывай всё сработанное ими или даже задуманное, — не поставили бы такого сверхмыслимого Хребта.

От станицы до станции так вела их всё время дорога, что Хребет был прямо перед ними, к нему они ехали, его они видели: суггированные пространства, оголённые скальные выступы да тени угадываемых ущелий. Но от получаса к получасу стал он снизу подтаивать, отделился от земли, уже не стоял, а висел в третью неба и запеленился, не стало в нём рубцов и рёбер, горных признаков, а казался огромными слитными белыми облаками. Потом и облаками уже разорванными на части, уже не отличимыми от истых облаков. Потом и их размыло. Хребет вовсе изник, будто был небесным видением, и впереди, как и со всех сторон, осталось небо сероватое, белесое, набирающее зноя. Так, не меняя направления, они ехали больше пятидесяти вёрст, до полудня и за полдень, — но великанских гор перед ними как не бывало, а подступили близкие округлые горки: Верблюд; Бык; плещивая Змейка; кудрявая Железная.

Они выехали ещё не пыльной дорогой, ещё росной прохладной степью. Они проехали те часы, когда степь звенела, вспархивала, щебетала, потом посвистывала, потрескивала, пошуршивала, — а вот уж к Минеральным Водам, волоча за собой ленивый пыльный взмёт, подъезжали в самый мёртвый послеполуденный час, и отчётливый звук был только — мерное постукивание их таратайки, дерево об дерево, а копытами в пыль становились лошади почти неслышно. И все тонкие запахи трав за эти часы были и перешли, а теперь настоялся один знойный солнечный запах с подмесью пыли, и так же пахла их таратайка, и сенная подстилка, и сами они — но, степнякам от первой детской памяти, этот запах был им приятен, а зной — не утомителен.

Отец пожалел дать им рессорную бричку, берёг, оттого на рыси их тряслось и колотило, и большую часть дороги они проехали шагом. Ехали они меж хлебов и между стад, миновали и солончаковые проплешины, перекатывали пологие холмы, пересекали отлогие балки, с близкой водой и сухие, ни одной настоящей реки, ни одной большой станицы, мало кого встречая, мало кем обогнанные по воскресному малолюдью, — но Исаакию, и всегда терпеливому, особенно сегодня, по настроению и замыслу его, совсем не тягостны были эти восемь часов, а мог бы он и шестнадцать проехать так: из-под дырявой соломенной шляпы — посверх лошадиных ушей, да придерживая возжи ненужные.

Евстрашка, младший, от мачехи, братишка, — эту всю дорогу ему сегодня же ворочаться в ночь, — сперва спал на сене за спиной Исаакия, потом вертелся, на ноги поднимался, разглядывая в траве, соскакивал, отбегал, догонял, полно было ему дел, ещё и рассказывал или спрашивал: «А почему, если закроешь глаза, кажется — назад едешь?»

Сейчас перешёл Евстрат во второй класс пятигорской гимназии, но сперва, как и Исаакия, его соглашался отец отпустить только в ближнюю прогимназию: остальные ведь, старшие братья и сёстры, не знали не видели ничего, кроме земли да скота да овец, и жили же. Исаакий былпущен учиться на год позже, чем надо, и после гимназии год передержал его отец, не давая себе сразу втолковать, что теперь какой-то нужен университет. Но как быки сдвигают тяжесть не урывом, а налогом, так Исаакий брал с отцом: терпеливым настоянием, никогда сразу.

Исаакий любил свою родную Саблю, и хутор их в десяти верстах, и сельскую работу, и теперь, в каникулы, никак не отлынивал ни от косьбы, ни от молотьбы. В понимании своего будущего он как-то рассчитывал соединить свою первородную жизнь и набранное в студенчестве. Но, что ни год, выходило напротив: учение безповоротно отделяло его от прошлого, от станичников и от семьи.

Во всей станице двое их было, студентов. Удивление и смех вызывали среди станичников их рассуждения, их вид, — и едва приехав, спешили они переодеваться в своё старое. Впрочем, одно было приятно Исаакию: станичная молва почему-то отделила его от другого студента и назвала — с издёвкою же — *народником*. Кто это первый прилепил и как это выложилось, а все дружно стали кликать его *«народником»*. Народников давно уже в России не было, но Исаакий, хоть никогда бы не осмелился так представиться

вслух, а понимал себя, пожалуй, именно народником: тем, кто ученье своё получил для народа и идёт к народу с книгою, словом и любовью.

Однако даже в родную семью возврат был почти невозможен. Три года назад уступивши непонятному университету, отец уже не менял решенья, не брал назад, но испытывал как свою ошибку, как потерю сына. Только и видел он в нём прок на каникулах — взять Саньку на сельские работы, а в остальные отлучные месяцы развидеть смысла учёности не мог.

Да с отцом осталось бы у них сродно, когда б не мачеха Марфа — бойкая, властная, жадная, стягивала дом под свою руку, свободя простор для детей своих. Старшие братья и сёстры Исаакия уже отделились, по мачехе чужел и отец, и дом родной. Приглядясь, позадумывался Саня ещё и пареньком: как же тяга эта ведёт человека всего, и долго, если, за сорок овдовевши, отец привёл вторую жену двадцатилетнюю, а этакой бабе молодой проворной, сам теперь о-шестидесят, уставу твёрдого положить не мог и не многое сам решал.

Да и воззрения новоприобретаемые отдаляли Исаакия. В детстве знал он немудро, безпонятно посты и праздники, босиком ко всенощной, — а потом от становой народной веры кто только его не отклонял. И Саблинская сама, и вся округа их была просеяна сектами — молоканами, духоборами, штундистами, свидетелями Иеговы, из секты была и мачеха, стал насчёт церкви теряться и отец, споры о верах были излюбленные в их местности в досуг, Саня много ходил прислушивался, пока воззрения графа Толстого не отодвинули ему эти все разноверия. Сумятица умов была и в городах, образованные друг друга тоже не все понимали, а учение Толстого так убедительно укладывало в мире всё, требуя одной лишь правды. Увы, и толстовская правда в отношениях с семьёй привела Саню, наоборот, ко лжи: так, став вегетарианцем, нельзя было объяснить, что делает это по совести, — позор и смех поднялся бы и по семье и среди станичных; пришлось начинать со лжи, что не есть мясного — это медицинское открытие одного немца, обеспечивает долгую жизнь. (А на самом деле, накидавшихся снопами, тело до дрожи требовало мяса, и ещё самого себя надо было обманывать, что довольно картошки и фасоли.)

Отчуждение от семьи облегчило Исаакию и нынешнее решение, с чем уезжал он теперь, — но и тут открыться не мог, пришлось и тут солгать, что требуется ему ехать в

университет на практику прежде времени, и саму эту практику придумывать и втолковывать простодушному отцу.

Три недели войны отзывались до сих пор в их станице лишь двумя царскими манифестами, на Германию и на Австрию, прочтёнными в церкви и вывешенными на церковной площади, да двумя отъездами запасных, да ещё отдельным отгоном коней в уезд, потому что числилась теперь станица Саблинская не казаками терскими, а карапами. Во всём же другом как не было войны: не попадали в их станицу газеты, и письмам из Действующей армии было рано, — да ещё понятия такого не было «письма», до сих пор «получать письма» в их станице было нескромностью, выделением, Саня старался не получать. Из семьи Лаженицыных не взяли никого: старший брат был уже в годах, уже сын его служил на действительной, у среднего брата не хватало пальцев, Исаакий — студент, а мачехины дети ещё малы.

И в сегодняшней полудневной езде по обширной степи тоже не послан был им никакой знак войны.

Переехав по мосту Куму, перевалив каменистым переездом через зноистое двухпутное полотно и уже едучи по травянной улице станицы Кумской, теперь Минеральных Вод, — и тут нигде не заметили они признаков войны. Так не хотелось жизни переворачиваться! Где только могла, она текла и таилась по-прежнему.

В тени большого вяза у колодца они остановились: Евстрашка должен был здесь обгодить, остудить и напоить коней, потом подъехать к станции. Саня обмылся, обхлюпался до пояса, два ведра извёл, ледяную на спину поливал ему Евстрашка тёмной жестяной кружкой, — тогда протёрся хорошенко, надел чистую белую рубаху с пояском, вещи покинул в таратайке и налегке, сторонясь от пыли, пошёл к станции.

Пристанционная площадь недавно была украшена посадкой сквера, но так и рылись куры по её окраинам да к длинному зданию станции подъезжавшие шарабаны и телеги внимали воздушный наслой пыли.

Зато минераловодский перрон, во всю длину покрытый лёгким навесом на тонких крашеных столбиках, проветваемый, прохладный, манил за собою курортами и сегодня, как всегда. У столбиков навеса вился дикий виноград, всё было привычно-дачное, весёлое, никакой войны и здесь как будто не знал никто. Дамы в светлых платьях, мужчины в чесучёвом шли за носильщиками к платформе

кисловодских поездов. Продавалось мороженое, нарзан, цветные летучие шары — и газеты. Саня купил одну, подумал — и вторую, разворачивал их уже на ходу, а потом на лавочке у дачного перрона. Вопреки обычной степенности он не дочитывал сообщений, перескакивал по столбцам — и просветлялся. Хорошо, хорошо. Наша крупная победа под Гумбиненом! Противник будет вынужден очистить всю Пруссию... И в Австрии хорошо дела... И у сербов победа!..

По хуторской привычке бережа всякую вещь, вот и бумагу, он сложил газеты не заминая, не рвя, как если б думал нужны будут вечно, встал и пошёл в кассу, узнавать о поездах. Он ровно шёл сквозь пассажирскую сутолоку, не разглядывая людей, — и вдруг из этой пересечки вырвалась девушка, он и не обернулся, как летела она, может быть на поезд, — а она к нему! он тогда и понял, когда обвила его за шею руками, притянулась, поцеловала — а вот уже и откинулась, своей смелости удивляясь, раскраснелая, радостная:

— Саня!! Вы?? Ка-кое совпадение! А я всю дорогу из Петербурга почему-то...

Всего-то полсекунды обнимала, а всё настроение и мысли сшибла, сметнула, и он стоял растерянный, с тем летучим, что возникло в этот налётный миг, и ещё оставалось на нём, не только от губ, солнечно нагретых.

Варя. Старая знакомая гимназических лет, после Пятигорска и не виделись, сперва ещё писали иногда. Раньше — заглаженная узкая головка сироты, а теперь волосы стрижены, пышно набиты вширь, и какой-то взгляд победно-возбуждённый:

— Я почему-то так и думала: а вдруг — вас встречу? Понимала, что невозможно, а... Даже мысль была — дать вам телеграмму в станицу, только знала, что вы не любите.

Саня стоял, улыбаясь. Он сбит был — и как она изменилась от шестиклассницы, и неожиданностью, и какая, при чём тут телеграмма (разорвалась бы в доме как бомба), и ощущением нагретости её.

— А я вот четвёртые сутки всё еду! — радовалась она. — Умирает мой опекун, и надо поклониться. Не самое удобное время ехать, поезда полные... А вы?.. Тоже едете?.. Или встречаете кого?

Такая дурашливая мысль, пошутить: вас. И этот налёт её, и безо всяких усилий... Пошутить: а я по сну приехал, вы мне приснились; сразу: да не может быть? Она так и стояла, как будто всё ещё разогнанная, в наклон к нему.

Варя не бывала красива, и не похорошела за эти годы, оставался тот же твердоватый по-мужски подбородок и удлиненный нос, но вспыхнуло радостное напряжение встречи, от чего она опалена и просто хороша:

— А помните?.. А помните?.. Как мы с вами на бульваре тоже вот так встречались — неожиданно, без уговора? Судьба?.. Слушайте, Саня, куда вы сейчас? Ну, найдите время! Давайте побудем вместе. Давайте, я побуду в Минеральных?.. А хотите — поедемте в Пятигорск?.. Как вы решите, так и будет, а?.. — Внезапные фразы бросала она, с неожиданным значением и выражением, как налетела и как стояла, не вполне ровно.

Заколебало, заклубило, замутило всё то высокое чистое настроение, с которым Саня сегодня прозрачным утром выехал и насматривался на снежно-синий скалистый Хребет. Как Хребет расплылся, так вдруг и всё дорогое настроение его. Вечное борение с искусствами, вся наша жизнь: мяса есть нельзя — а хочется, злого делать нельзя, доброе трудно... А в Минеральных Водах только пройдись, тут увидят свои станичные, дома расскажут... А ехать в Пятигорск — и вовсе уклонение, вздор. Гостиницы, рестораны?.. Все копейки рассчитаны на билет.

Жалко было своё сегодняшнее особенное утро. Но, с удивлением к себе: уже и жалко было бы не встретить Варю. Так Саня ощущал, что, пожалуй, способен вдруг и поехать с ней.

А она сияла, остролицая, видя его уже согласным, но по разгону повторяла с резковатыми призывками:

— А — куда вы? Куда? Зачем?

И так сама напомнила. Навела.

Отвела.

Улыбаясь рассеянно и чтоб её не обидеть:

— Я... В Москву. — Он смотрел в сторону, вниз, как виноватый. — Сперва в Ростов заеду, там друг у меня, Константин, может быть знаете?

— Но ведь до занятий ещё три недели! — Рукой, до локтя открытой, взяла у локтя его, крепко, требовательно. — Или, думаете, вас...? — затревожилась, потянула сильней, — с четвёртого курса? Ни за что! Зачем же вы едете?

Вот так просто ответить на ходу — было разменно, недостойно. Саня улыбался смущённо:

— Да понимаете... Н-не сидится... на хуторе...

Она вздрогнула откинутой головой, как лошадь, увидевшая круто вниз, и напряглась, уже за обе руки спасая его:

— Да вы... не... ли... до-брó-вольно?..

Правда, они встречались раньше, даже не уговариваясь. Со скрытой надеждой ученица городского училища выходила к вечеру на главный бульвар Пятигорска, и вот ей навстречу шёл уже знакомый, на три года старше, гимназист.

А встретясь, они рассуждали. Их встречи были серьёзные, умные разговоры, для Варя очень важные: Варя никогда никого не помнила старшего близкого. Даже когда темнело, наставницы и наставники увидеть их не могли, и Сане вполне было уместно взять Варю под руку, — он не брал. И она особенно уважала его за такую серьёзность. (Хотя, пусть бы меньше уважала.)

Позже, переведясь в гимназию, она стала встречать Саню и на ученических балах и других собраниях, но и там больше рассуждали, а не танцевали никогда. Саня говорил, что объятия вальса создают желания, ещё не подготовленные истинным развитием чувства, и граф Толстой полагает в этом дурное. Подчиняясь его мягким разъяснениям, уверилась и Варя, что танцевать не хочет.

И ещё потом сохранялась между ними переписка, очень разумные письма писал он. Хотя в Петербурге на курсах далеко расширился варин кругозор, и много умных людей знала она теперь, но и Саню вспоминала.

А когда три недели назад у себя на Васильевском Варя прочла наклеенный на тумбе царский манифест, потом трамваем переехала через Неву, а там, на Исаакиевской площади, патриоты громили германское посольство, били стёкла, выбрасывали в окна мебель, мрамор и проткнутые картины, свалили с кровли на тротуар огромных бронзовых коней, ведомых гигантами, и все люди вокруг возбуждённо радовались, будто пришла не война, но их долгожданное счастье, — в тот смутный миг, подле черно-коричневых колонн Исаакия, защемило у Вари: повидать бы теперь Саню. Да проезжая мимо Исаакиевского собора она и всегда его вспоминала: не любя своего имени, Саня отшучивался, что Пётр Великий ему тёзка: тоже на Исаакия родился, отчего и собор, только императору облагозвучили имя, а степному мальчику нет.

Не предполагала Варя, внезапно вызвали ее в Пятигорск: тяжело заболел её опекун, не опекун, — жертвователь, на деньги которого она и многие другие сироты учились, и сочтено было, что она должна его навестить, хотя он и не помнил всех, на кого жертвовал, и не мог приезд какой-то

незнакомой курсистки с остывшими благодарностями подбодрить его. И вот, черезо всю ширину Империи, томясь четыре дня в поездах, Варя почему-то придумывала и вызывала: «Саня, встреться! Саня, встреться!» — как когда-то, проходя всю длину пятигорского бульвара.

Не обязательно именно Саню, сколько мужских характеров этот Толстой перепортил. А просто ехала Варя от Исаакия — через Москву, через Харьков, через Минеральные Воды, всё санины места. Грязнула война — ей стало одиноко, упущенno. Не была и прежде полна её жизнь, но ощущалась полнота общего озера. А теперь как будто разверзся донный провал, и туда с кручением и гулом стала навсегда уходить вода озера — и пока не всё пересохло, надо было спешить, спешить!

А ещё: разобраться, как это сразу всё закособочилось, куда поползло? Всего месяц назад, три недели назад, кажется никакой мыслящий русский гражданин не сомневался, что глава России — презренная личность, недостойная даже серьёзного упоминания, немыслимо было без насмешки повторить его слова. И вдруг в день-два всё изменилось. По виду образованные и неглупые люди, никем не понуждаемые, собирались, строгие, около тумб — и с этих тупых цилиндрических тумбенных туш им выглядело длинное титулование монарха совсем не смешным, и никем же не понуждаемые чтецы громко читали ясными голосами:

«Встаёт перед врагом вызванная на брань Россия, встаёт на ратный подвиг с железом в руках, с крестом на сердце... Видит Господь, что не ради воинственных замыслов или суетной мирской славы подняли мы оружие, но ограждая достоинство и безопасность Богом хранимой нашей Империи, боремся за правое дело...»

Всю долгой дорогой наблюдала Варя сопутствия войны: военные погрузки, проводы. Особенно на полустанках лихо выглядело русское прощание: под балалайку выплясывали запасные на утолоченных площадках, взметая пыль, и что-то развязно кричали, видно пьяные, а родные крестили их, плакали по ним. Когда ж мимо товарного поезда запасных проносился другой такой же поезд — взлетало братское «ура-а-а-а!» из двух поездов и растягивалось, безумное, отчаянное, безмысленное, на длину двух составов.

И никто не демонстрировал против царя.

А Саня в белой чистой рубашке был особенно степной, загорелый, примятые волнистые пшеничные волосы, пропалённые солнцем на крестьянской работе. Едва увидела — и кинулась к нему, на свою загадку-угадку, но и — сбить одним движением эту прежнюю тягучую робость их встреч. Так поверилось, что сейчас они всё своё бросят — и куда-то, куда-то...

Саня был простак уже и до сложности.

Меж коротко подстриженными русыми усами и диковатой порослью ёщё-не-бородки улыбался мягко, раздумчиво. И в глазах, как всегда, неперестанная внутренняя работа. А уже — и заглатывающее заострение — общее — увидела на нём. *Уходит?* — добровольно?..

— Саня! Не идите! — за плечи его. — Не уходите!

Тем же водоворотом, в тот же донный провал закручивало и его... От него же занятую когда-то рассудочную ясность она теперь порывалась ему вернуть, из водоворота выхватить его назад, как успеет. Она не готовилась, само натекло на язык... Десятилетия гражданственной литературы, идеалы интеллигенции, народолюбие студенчества — и всё отдать зашлётать в один миг? Забыть этого... Лаврова, Михайловского?.. Хор-рошенькое дело! — так поддаться тёмному патриотическому чувству! изменить всем принципам! Ладно, он не был революционером, но пацифистом-то был всегда!

Со стороны показалось бы, что это она воинственно настроена, а он мягко отговаривает её от войны. Варя разгорячилась, и улыбка её стала резкой. Приподнялась и в отчаянии сбилась её шляпка — дешёвая и беззатейная, не для привлекательности выбранная, а защищать от солнца только.

Не находясь возражать, не защищаясь, Саня кивал. Грустно:

— Россию... жалко...

Урчала, гудела, уходила вода из озера!

— Кого? — Россию? — ужалилась Варя. — Кого Россию? Дурака императора? Лабазников-черносотенцев? Попов долгогорячих?

Саня не отвечал, ему нечего было. Слушал. Но под хлёстом упрёков нисколько не ожесточался. Он на каждом собеседнике себя проверял, всегда так.

— Да разве у вас характер — для войны? — подхватывала Варя всё, что только можно было, что под рукой.

В первый раз она чувствовала себя умней его, зрелей его, критичней, — но от этого только холод утраты сжимал её.

— А Толстой! — нашла она ещё, последнее. — Что сказал бы Лев Толстой — вы подумали? Где же ваши принципы? Где же ваша последовательность?

На загорелом санинном лице под пшеничными бровями, над пшеничными усами голубели ясные, печальные, в себе не уверенные глаза.

Плечи чуть подняв, чуть опустив:

— Россию жалко...

ДОКУМЕНТЫ — 1

23 июля

**ПОСОЛ ФРАНЦИИ ПАЛЕОЛОГ — ИМПЕРАТОРУ
НИКОЛАЮ II**

...Французская армия должна будет вынести ужасный удар 25 немецких корпусов. Умоляю Ваше Величество отдать приказ своим войскам немедленно начать наступление. В противном случае французская армия рискует быть раздавленной.

ДОКУМЕНТЫ — 2

31 июля

Запись маршала Жоффра

...Предвосхищая все наши ожидания, Россия начала борьбу одновременно с нами. За этот акт лояльного сотрудничества, которое особенно достойно, поскольку русские ещё далеко не закончили сосредоточение своих сил, армия Царя и великий князь Николай заслужили признательность Франции.

ДОКУМЕНТЫ — 3

1 августа

НИКОЛАЙ II — МИНИСТРУ САЗОНОВУ

...Я приказал великому князю Николаю Николаевичу возможно скорее и во что бы то ни стало открыть путь на Берлин. Мы должны добиваться уничтожения германской армии.

Это не ново было для Сани, что он запутывался в противоречиях, что его взгляды не сходятся с чувствами. Но если в противодействии мясу или танцам можно было всякий раз и от месяца к месяцу упражнять свою выдержку, то войны никто никогда и не предлагал, не хвалил, не манил ею, она казалась вовсе исключена в цивилизованный развитой век, — так некогда было к ней и подготовиться. Было усвоенное представление: война — грех. Без единой проверки легко было так считать. Но вот разразилась первая — и в раздольной безтревожной степи, под небом беззучным — засосало. И беззащитно почувствовал Саня, что эту войну ему не отвергнуть, не только придётся идти на неё, но подло было бы её пропустить — и даже надо поспешить добровольно. В станице не оспаривали и не обмысливали войну как событие, которое будто бы в наших руках, могло бы быть или не быть допущено. Войну и вызовы воинского начальника там все принимали как волю Бога, как снежный буран, как пыльную бурю. Но и добровольного ухода тоже взять в толк не могли бы. И в сегодняшней долгой дороге, поколачиваемый таратайкой и пожигаемый солнцем, Саня решился ещё неясно, неокончательно. Ещё предстояло ему в Ростове совещаться с другом своим, Котей. Измена Толстому была уж и совсем определённая. Но услышав Варю и приняв на себя взмёт возможных демократических и революционных аргументов, Саня не обнаружил средь них решающего: через тёмную безду, зинувшую перед Россией, не бросали они никакого моста.

И он расстался с Варей более убеждённый идти добровольцем, чем до неё.

Другое: с Варей самой. Он ведь еле удержался. Она так звала, и так томительно ему, — поехал бы! По-крестьянски: ломай солому пока трещит, а девку пока верещит. Но уже в боях умирали люди. Нечестно. Поехал бы — и смял бы, сбил всё настроение своё и, может, даже, в станицу бы вернулся.

Это всё он перебирал полночи уже в бакинском почтовом, на боковой верхней полке, только-только помещаясь в длину от макушки до подошв. Из Минеральных выехали вечером, от военного времени было переполнение: в третьем классе редкая полка пустовала.

Расстался с ней — тут и потянуло: ах, зря! Хоть вдогонку езжай. Теперь-то именно, идя на войну, как же было пренебречь?

Так заныло, лучше б не встречал. Так заныло, хоть в Харьков заезжай, к черноволосой Леночке с гитарой и романсами. А какая ж разница — Пятигорск или Харьков? Если б он поехал с ней — ничего б не стоило и всё его решение, и движенье.

Хотелось, мечталось Сане дожить — полюбить понастоящему. Душой полюбить. И на всю жизнь.

Но теперь пока расстилалась — война.

В вагоне было душно, у Сани правая сторона по ходу, и имел он право оттянуть свою раму вниз, так открыл себе продух, а решётку складную опустил, чтоб не вывалиться. На частых остановках ходили по вагону, цепляли за простеленную санину студенческую тужурку, разговаривали за окном на платформе, — Саня просыпался, и сразу подступало всё то же ощущение беды, не собственной своей, но от этого не меньшей. Поглядывая на стеариновую свечу в стеклянном простенке, освещавшую четыре купе сразу, Саня по отгару её соображал, сколько времени прошло. На ходу пламя свечи подрагивало, и колебались густые тени под полками.

А то слышал он название станции или высматривал её через щель решётки: он каждую тут станцию знал в лицо и мог наизусть их перечислять с полустанками от Прохладной до Ростова и наоборот.

Он любил эти все станции, и весь край здесь был его родной, в Нагутской жила одна замужняя сестра, в Курсавке другая. Но за последние годы его привязанность раздвоилась, с тех пор как Саня узнал и коренную, лесную, настоящую Россию — ту, что начинается только от Воронежа.

Из-под Воронежа откуда-то и вышли Лаженицыны. И в свой холостой год между гимназией и университетом Саня выпросился у отца съездить посмотреть места их предков (а на самом деле ещё и ко Льву Толстому метил попасть).

Дед Ефим, когда жив был, рассказывал, что на его пращура Филиппа напустился царь Пётр — как смел поселиться инде без спросу, и выселил, и слободу их Бобровскую сжёг, так осерчал. А дедова отца сослали из Воронежской губернии сюда за бунт, несколько их было, тех мужиков, однако тут кандалов не надели, и не в солдатское поселение, и не под крепость, а распустили по дикой закумской степи, при казачьей Старой линии, и так они жили тут, никто никому, не

жались по безземелью, на полоски степь не делили, где пахали-сеяли, а где гоняли на тачанках да стригли овец. Окоренились.

Через просветы между планками решётки всё было черно за вагоном. Но потом стало освещаться небо, и ещё светлеть, вот уже пересиливало свечу, и проводник пришёл погасить её. Белое небо взялось розовым, Саня покинул попытки спать, поднял решётку к потолку, избочась надел тужурку и в обдуве холодного встречного воздуха стал ждать восхода. Розовое распахивалось просторным шатром, особенно ярко находя по небу и выхватывая мелкие облачка, а в исходе своём всё накалялось — алым, багряным, и уже неудержимое выперло, расплывалось красным солнцем. И так, у мира всего на виду, всю красную щедрую мощь погнало, полило багрецом по степной шире, не жалея нисколько, до крайней западной дали не обойдя ни mestечка.

В *той* России — много красот умеренных, разделённых, обставленных лесами и взгорками, а вот таких разгарчивых, разливистых восходов на всю вселенную — не бывает.

Тоже вот таким ранним погожим утром, когда солнце едва взошло, ещё до шести утра, и тоже из первых дней августа, пять лет назад, Саня вышел со станции Козлова Засека — идти к Толстому. Было сочней и свежей, чем может быть на Кубани летом. Спрося на станции, Саня спустился в овражек, поднялся по косогору и попал в такой лес — просторный, ядрёный, широкоствольный, парадный, парковый, какого, живя на юге, не мог бы вообразить, да и на картинках никогда не видел. В росе молочной, а потом радужной, лес этот звал не пройти себя, а бродить, сидеть, лежать, остаться тут, никогда из него не выбраться, — а ещё особенным казался оттого, что дух пророка носился здесь: ведь Толстой же ходил или ездил на станцию, он здесь не мог не бывать, этот лес был уже началом его поместья!

Но нет, лес поднялся к орловскому большаку — и оборвался. Саня понял свою ошибку: только перевали через большак, он спустился к ясонополянскому парку. И пошёл вдоль него. Парк отделялся от дороги канавкою и тесной зарослию. Дальше, за огибом, виднелись белые каменные входные столбы.

Тут Саню взяла робость. Он не нашёл сил идти через парадные ворота, по парадной аллее, отвечать на вопросы встречных. Да его могли и не пустить к Великому, скорее всего. И легче оказалось перепрыгнуть через канавку,

Конец ознакомительного фрагмента.
Для приобретения книги перейдите на сайт
магазина «Электронный универс»:
e-Univers.ru.